



## Д. И. ПИСАРЕВ

### Бедная русская мысль

<Фрагменты>

Когда западники спорили с славянофилами о реформе Петра, тогда первые доказывали, что она была в высшей степени полезна, а вторые утверждали, что она извратила русскую жизнь и нанесла к нам целые груды иноземной лжи. Западники говорили, что с реформы Петра начинается история России, а что предыдущие столетия не что иное, как печальное и мрачное введение; славянофилы божились, напротив того, что с Петра начинается вавилонское пленение русской мысли, египетская работа, заданная нам Западом. Мне кажется, нельзя согласиться ни с западниками, ни с славянофилами. Западников можно было озадачить одним очень простым вопросом: в чем же вы, господа, можно у них спросить, видите проявление исторической жизни в России после Петра? Какое же существенное различие между Россией Алексея Михайловича и Россией Екатерины I? В чем изменилась судьба народа? И какое дело народу до того, что в Петербурге ученые немцы собирают монстры и раритеты, что приказы переименованы в коллегии и что шведский король разбит под Полтавою? Обращаясь к славянофилам, можно сказать: помилуйте, господа, о чем вы горюете? Если иноземная лож действительно подавила нашу народную правду, то, значит, эта лож хоть и ложь, а все-таки была сильнее хваленой вашей правды. Если эта победа лжи над правдою есть явление временное, происходящее от временного ослабления этой правды, тогда ждите ее усиления и не вините Петра в том, что он будто бы задавил это живое начало. Да и что за правда? Где она? В какой это прелюбезной черте старорусской жизни вы ее видите? В боярщине, в унижении женщины, в холопстве, в батогах, в постничестве и юродстве? Если это правда, то во всяком случае правда относительная. Иному она нравится, а иному и даром не нужна. Расходясь с западниками и славянофилами, я в то же время схожусь

и с теми и с другими на некоторых существенно важных пунктах. С западниками я разделяю их стремление к европейской жизни, с славянофилами — их отвращение против цивилизаторов à la Паншин или, что то же самое, à la Петр Великий. Европейская жизнь хороша, спору нет, — не хорошо только то, что мы до сих пор созерцаем ее в заманчивой, но отдаленной перспективе. Любя европейскую жизнь, мы не должны и не можем обольщаться тою бледною пародиею на европейские нравы, которая разыгрывается высшими слоями нашего общества со времен Петра; мы должны помнить, что ничто не вредит истинному прогрессу так сильно, как сладенький оптимизм, принимающий декорации за живую действительность, удовлетворяющийся фразами и жестами, питающийся дешевыми надеждами и не решающийся называть вещи их настоящими именами. Постепенное очищение нашего сознания от этого тупого оптимизма составляет самую живую и интересную сторону в развитии наших литературных идей. С каждым десятилетием мы начинаем смелее и беспощаднее относиться к самим себе, к тем проявлениям нашей жизни, которые так недавно возбуждали в нас патриотическую гордость. Мы трезвеем с изумительною быстротою и перестаем бояться тех неприятных ощущений, которые может доставить нам созерцание неподкрашенной действительности. Давно ли Полевой писал свою «Парашу-сибирячку»? Давно ли Загоскин восхищал патриотическую публику произведениями вроде «Юрия Милославского» или «Рославлева»? Давно ли Пушкин зывал к клеветникам России, давно ли он пел Петру переслащенные панегирики в «Полтаве» и в «Медном всаднике»? Давно ли даже Гоголь в конце первой части «Мертвых душ» сравнивал Россию с могучею тройкою, от которой сторонятся народы, перед которой чуть ли не с благоговением расступаются европейские державы? Возьмите, наконец, Белинского, этого неподкупного критика, этого трезвого мыслителя. Просмотрите его статью о Петре, писанную в 1841 году. Что это за восторги, что за восклицания, что за риторические фигуры вместо тонкого анализа и последовательной аргументации! Надо сказать правду, в последнее время наши умственные и нравственные требования поднялись гораздо выше. Теперь даже г. Пекарский, которого по таланту, конечно, смешно и сравнивать с Белинским, не обнаружит в отношении к Петру того ребячески-слепого благоговения, которое в начале сороковых годов одолело нашего знаменитого критика. Созрели ли мы или не созрели, это такой вопрос, которого разрешение надо предоставить г. Е. Ламанскому или г. Погодину, но достоверно то, что мы почувствовали и начали сознавать нашу незрелость, мы стали строги и требовательны к самим себе, мы вооружились против себя

и против других оружием насмешки и презрения, юмор и желчь проникли насквозь нашу литературу и заразили собою самых незлобивых наших поэтов, — вот что хорошо, вот на что мы можем надеяться, потому что, как говорит Базаров, кто сердится на свою болезнь, тот наверное победит ее. Итак, мы любим европеизм, но, именно из любви к нему, стремимся к настоящему европеизму и не удовлетворяемся остроумными затеями Петра Алексеевича.

С славянофилами мы сходимся, как я уже заметил, в их отвращении к цивилизаторам, насильно благодетельствующим человечеству. Мы бы желали, чтобы народ развивался сам по себе, чтобы он собственным ощущением сознавал свои потребности и собственным умом приискал средства для их удовлетворения. Мы в этом случае не восстаем против подражательности, если только народ собственным процессом мысли доходит до сознания необходимости позаимствоваться у соседей тем или другим изобретением или учреждением. Мы не желаем только, чтобы над жизнью народа проделывали те или другие фокусы; если бы теперь в России жили два человека, из которых один захотел бы силою вводить заключение женщины в терема, а другой вздумал бы силою же вводить гражданские браки, то меня прежде всего возмутило бы не направление той или другой реформы, а ее насильственность, т. е. способ ее проведения в жизнь. Но, придавая таким образом важное значение самостоятельному развитию народной жизни и народной мысли, мы не желаем утешать себя звучным падением слов; мы не думаем, чтобы мыслящий историк мог в истории московского государства до Петра подметить какие-нибудь симптомы народной жизни, мы не думаем, чтобы он нашел в ней что-нибудь, кроме жалкого, подавленного прозябания. Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения; нам не на что оглядываться, нам в прошедшем гордиться нечем; мы молоды как народ, и если счастье дастся нам в руки, так не иначе как в будущем, впереди, в неизвестной, заманчивой, голубой дали. Следовательно, славянофильское отрицание действий Петра во имя допетровского порядка вещей оказывается несостоятельным, хотя это отрицание основано на очень законном и понятном отношении славянофилов к тем бытовым формам, которые выработались у нас в XVIII и в половине XIX века. Сухой бюрократизм этих бытовых форм тяготел над ними свинцовою тяжестью, и они видели, что этот бюрократизм ведет свое происхождение из заморского Запада и постоянно указывает на свою непосредственную связь с действиями Петра. Недовольные настоящим, несправедливо негодуя против заморского Запада, славянофилы обратились к тому гонимому, отверженному прошедшему, которое наши официаль-

ные историки отнесли под рубрику русских древностей. Желая вычитать из летописей привлекательные черты этого умышленно забытого прошедшего, славянофилы успели это сделать; в каждой книге, в каждой рукописи всегда можно прочесть именно то, что желаешь, и, таким образом, многие из наших патриотов по предвзятой идее влюбились в наше прошедшее, доказали себе, что оно хорошо, и зажмурили глаза, чтобы не видеть его гнойных ран и кровавых болячек. Накидываясь на Петра за то, что он нарушил гармонию этого прошедшего, славянофилы не сообразили того, что один человек не может изменить строй народной жизни, если эта жизнь действительно построена на крепких и разумных основах, сознанных и любимых самим народом. Если Петр действительно опрокинул что-нибудь, то он опрокинул только то, что было слабо и гнило, только то, что повалилось бы само собою.

Мы видим таким образом, что и славянофилы и западники преувеличивают значение деятельности Петра; одни видят в нем искажителя народной жизни, другие — какого-то Сампсона, разрушившего стену, отделявшую Россию от Европы. Метафорам с той и с другой стороны нет конца, потому что только метафорами можно до некоторой степени закрасить нелепость того или другого положения. Деятельность Петра вовсе не так плодотворна историческими последствиями, как это кажется его восторженным поклонникам и ожесточенным врагам. Жизнь тех семидесяти миллионов, которые называются общим именем русского народа, вовсе не изменилась бы в своих отправлениях, если бы, например, Шакловитому удалось убить молодого Петра. Конечно, очень может быть, что у нас не было бы столицы на берегах Невы и, следовательно, не было бы ни кунсткамеры с раритетами, ни академии наук, ни даже исследования г. Пекарского, удостоенного полной демидовской премии. Все это очень возможно, но скажите по совести, положив руку на сердце, какое дело русскому народу до всех этих общепользных учреждений? Многие ли из этих семидесяти миллионов знают о их существовании? Вот манифест 19 февраля 1861 года — дело совсем другое; об нем через полгода знала вся Россия, и мужики повеселели на всем протяжении земли

От хладных финских скал  
До пламенной Колхиды,  
От потрясенного Кремля  
До стен недвижного Китая.

Этот манифест — историческое событие, эпоха для жизни России. Но кто же, кроме г. Устрялова, решится считать эпохою закладку Петербурга, или учреждение академии, или основание потешных рот?

А между тем нельзя не заметить, что многосторонняя, кипучая деятельность Петра представляет собою оригинальное и характерное явление. Эта деятельность важна и замечательна, как барометрическое указание; она доказывает нам, как глубоко спал русский народ, как бессилён был против этого богатырского сна тот шум, который производил Петр, и как непробудно продолжал спать этот народ во время деятельности своего властелина и после ее окончания. Проснулся ли он теперь, просыпается ли, спит ли по-прежнему, — мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем. Верно только одно: если он проснется, то проснется сам по себе, по внутренней потребности; мы его не разбудим воплями и воззваниями, не разбудим любовью и ласками, как не разбудил Петр Алексеевич ни казнями стрельцов, ни изданиями голландской типографии Тессинга.

#### IV

К. С. Аксаков в своей статье о богатырях времен великого князя Владимира приводит очень характерный рассказ о столкновении Ильи Муромца с каким-то неведомым богатырем необъятной силы.

Создав богатыря страшной силы, — говорит Аксаков, — народная фантазия не остановилась на этом. Она создает еще богатыря — необъятную громаду и необъятную силу: его не держит земля; на всей земле нашел он одну только гору, которая может выносить его страшную тяжесть, и лежит на ней неподвижный. Прослышал о богатыре Илья Муромец и идет с ним померять силы; он отыскивает его и видит, что на горе лежит другая гора — это богатырь. Илья Муромец, не робея, выступает на бой, вынимает меч и вонзает в ногу богатырю. — Никак я зацепился за камушек, — говорит богатырь. Илья Муромец наносит второй удар, сильнее первого. — Видно, я задел за прутик, — говорит богатырь и, обернувшись, прибавляет: — это ты, Илья Муромец; слышал я о тебе: ты всех сильнее между людьми, — ступай и будь там силен. А со мною нечего тебе мерять силы; видишь, какой я урод; меня и земля не держит; я и сам своей силе не рад.

Борьба между волею Петра и естественною силою обстоятельств в тогдашней России напоминает собою этот своеобразный эпизод из богатырской жизни Ильи Муромца. Подобно Илье Муромцу, Петр чувствовал себя сильнее всех своих современников; силы его ума и воли были необыкновенны; положение его совершенно исключительно; все его приказания исполнялись буквально; все нарушители его воли подвергались жестокому наказанию; сопротивление было невозможно и немислимо; даже недостаток усердия

в повиновении считался преступлением; словом, все единичные воли без борьбы склонялись перед волею Петра, и Петр, как сказочный богатырь Илья Муромец, не находил себе соперников и противников между живыми людьми.

Но почти всегда случается так, что претензии превышают сумму наличных сил; это бывает даже тогда, когда наличных сил очень много; могучий гений почти всегда бывает одержим таким беспокойным стремлением к деятельности, которое заставляет его предпринимать невыполнимые задачи, сталкиваться с неодолимыми препятствиями и горьким опытом убеждаться в том, что всякой человеческой силе есть мера и границы.

Решившись создать русскую цивилизацию, решившись превратить в европейцев те миллионы своих подданных, которые еще не обнаруживали ни малейшего желания и не чувствовали ни малейшей потребности изменить свой стародавний быт, Петр, очевидно, вступил в борьбу уже не с единичною волею, и даже не с массою единичных волей, а просто с стихийною силою, с природою, с физическими законами вещества. Переделать целое поколение своих современников и устранить влияние этого поколения на подрастающую молодежь значило создать для целой обширной страны новую, искусственную атмосферу жизни. Выполнить такого рода задачу было так же невозможно, как, например, изменить в России климат, или поворотить назад все течение Волги, или сровнять с землею Уральский хребет. Принимаясь за свое невыполнимое дело, наш Илья Муромец XVIII века вступал в борьбу с таким богатырем, который даже по своей огромности не мог чувствовать его ударов, который даже не давал себе труда сопротивляться его усилиям. Да и к чему было сопротивление, когда усилия сами собою разбивались об естественные препятствия, об очевидную невозможность?

Цивилизаторские попытки Петра прошли мимо русского народа; ни одна из них не прохватила вглубь, потому что ни одна из них не была вызвана живою потребностью самого народа. Вместе с Петром двигались и хлопотали по его приказанию сотни военных и гражданских чиновников; по команде этих чиновников трудились и утомлялись тысячи простых работников, облеченных в сермяжные кафтаны и в форменные мундиры. Чиновники Петра до некоторой степени понимали некоторые из его желаний; работники, исполнявшие приказания чиновников, уже ровно ничего не понимали; общая мысль правительства была ясна и понятна только самому Петру; спускаясь по бюрократической лестнице рангов и должностей, дробясь, изменяясь и искажаясь в различных инстанциях, свет этой мысли быстро слабел по мере того, как

он удалялся от своего источника; уже второстепенные чиновники едва видели этот свет, а низшие исполнители были совершенно слепы и работали во мраке. За низшею инстанциею исполнителей начинался народ, который уже ровно ничего не знал о действиях и намерениях правительства; по правде сказать, он и не старался узнавать; ему нечем было интересоваться; только увеличение денежных налогов или естественных повинностей напоминало ему порою о существовании центральной власти; на что шли собираемые деньги, куда тратились живые силы, выхвачиваемые из его среды, об этом было бесполезно спрашивать. На что бы они ни шли, куда бы они ни тратились, ясно было одно — они исчезали, а ощутительного улучшения быта не замечалось.

Колоссальный богатырь нашей сказки разговаривает с Ильею Муромцем и, как мы видели, принимает его удары сначала за действие маленького камушка, потом за столкновение с прутиком. Богатырь, с которым имел дело Петр, по всей вероятности был громаднее сказочного богатыря: он ничего не говорил Петру и совсем не замечал его усиленных ударов. Приближенные Петра любили и боялись своего властелина; раскольники боялись и ненавидели его, но вся масса народа, та масса, мимо которой шли и до сих пор идут все исторические события и перевороты, не чувствовала к нему ни любви, ни ненависти, ни боязни. Ее занимали неизбежные, вседневные заботы о пропитании; каждый день приносил с собою свои труды и хлопоты, свои невымышленные опасения и горести, свою нескончаемую борьбу за право жить. Мужику было не до политики и не до Петра, когда ему надо было сегодня пахать, завтра двойть, послезавтра сеять и во все это время ладить то с барином, то с бурмистром, то с каким-нибудь приказным, то с своею собственною горемычною семьею. Мужику показались бы барскими затеями и прихотями все прогрессивные распоряжения Петра, но, к счастью или к несчастью, мужик об них не знал и решительно не интересовался ими; чтобы дать мужику возможность интересоваться распоряжениями правительства, надо было хоть немного облегчить тот страшный гнет материальных забот, лишений и стеснений, который обременяет собою низшее сословие даже в самых образованных государствах Европы и который в странах, еще не успевших освободиться от рабства или от крепостного права, парализирует в низшем сословии всякую самостоятельность мысли, всякую энергию воли и поступков, всякое решительное стремление к лучшему порядку вещей. Надо было стряхнуть с русского мужика его отчаянную апатию — эту вынужденную апатию безнадежности, которая так неминуемо и неизбежно вытекала из безвыходности положения. Стряхнуть эту роковую апатию, — которую многие

совершенно ошибочно принимают за физиологическую черту русского народного характера, — мог только или сам народ, или такой смелый преобразователь, который, находясь в положении Петра I, решился бы коснуться основных сторон гражданского и экономического быта нашего простонародья. Петра, конечно, нельзя упрекнуть в недостатке смелости и энергии; если бы он понял необходимость радикальных бытовых реформ, если бы он убедился в том, что истинное просвещение может пустить глубоко корни только в такой стране, в которой все граждане пользуются естественными человеческими правами, — тогда, конечно, он не побоялся бы ожесточенного сопротивления бояр и не отступил бы от упорной борьбы с рабовладельческим порядком вещей. Но чтобы увидеть корень зла, причину застоя и неподвижности, Петру было необходимо стать выше своего века и посмотреть на задачу просвещения не так, как смотрели на нее короли, подобные Людовику XIV, и ученые, подобные Лейбницу и французским академикам.

В предыдущей статье я выразил ту мысль, что личная инициатива крупного исторического деятеля почти никогда не имеет решительного, определяющего влияния на развитие исторических событий. Эта мысль подтверждается примером Петра. Читатель, быть может, возразит мне, что если бы Петр уничтожил крепостное право, тогда, вероятно, весь ход исторических событий в России XVIII века сложился бы иначе, и в наше время Россия находилась бы уже не в той фазе развития, в которой мы ее застали. — Это возражение действительно довольно важно, тем более что нет таких исторических фактов, которые доказывали бы, что у Петра не достало бы сил или энергии для совершения такого переворота. Если бы Петр решился распорядиться таким образом и если бы он нашел под руками необходимые силы и средства, тогда, значит, за чем же дело стало? — Только за мыслью. А что, если бы явилась эта мысль? — Вот тут-то и оказывается слабая сторона того возражения, которое может представить читатель. Разве же мысль является когда-нибудь случайно? Разве же она сваливается с неба? — Вы без надобности не повернете головы, не шевельнете пальцем; каждое движение ваше непременно вызывается или внутреннею потребностью, или внешним впечатлением; каждое усилие вашего мозга является только ответом на какой-нибудь запрос, поставленный вам обстоятельствами жизни. — Чтобы напасть на мысль об уничтожении крепостного права, мало быть гениальным человеком; надо еще жить в такое время, когда вопрос поставлен на виду, когда слышится голоса за и против, когда, следовательно, важность этого очередного вопроса бросается в глаза даже такому человеку, который еще не знает, на чьей стороне логика и справедливость.

&lt;...&gt;

Теперь ясно, почему Петр не мог уничтожить в России рабства, несмотря на колоссальную силу своего ума и своей энергии; ясно, почему он даже не мог подумать о таком распоряжении, которое теперь кажется нам естественным, необходимым и во всяком случае вовсе неудивительным. Я говорил уже, что влияние исторического деятеля всегда ограничено обстоятельствами места и времени; эта зависимость отдельной личности от обстановки и от общей жизни всего народа и эпохи всего рельефнее выражается в том, что даже самый процесс мысли в голове очень умного человека вполне обуславливается теми впечатлениями, которые воспринимает последний.

&lt;...&gt;

За какое бы дело ни принялся Петр I, он во всяком случае не остался бы в ряду посредственностей. Живой ум и железная воля заявили бы себя и в военном деле, и в ученом труде, и в техническом занятии или производстве. Если бы Петр был простым работником на какой-нибудь фабрике, то его, наверное, уважали бы товарищи, им дорожил бы хозяин, и он, может быть, выдумал бы какую-нибудь новую машину. Попал ли бы он во всемирную историю — это, конечно, неизвестно. Много светлых голов затирает темная, трудовая жизнь, и много жалких посредственностей оставляют свое имя в истории по праву рождения и по стечению случайных обстоятельств. Способности и силы Петра составляют его полную неотъемлемую собственность; что же касается до его деятельности, то она зависит преимущественно от его исторической костюмировки, от декораций и освещения. Он стоит на подмостках времени и места, он окружен послушными исполнителями, за ним стоит великий, безответный народ; он один думает, действует, управляет событиями, а все, что его окружает, то оттеняет только его деятельное могущество своею официальною безгласностью, своим пассивным повиновением. — Как величие Петра зависит преимущественно от случайных особенностей его положения, так точно и несостоятельность его исторической деятельности должна быть отнесена на счет условий времени и места. В России, в начале XVIII столетия, сын царя Алексея Михайловича не мог действовать иначе; за то, что он сделал, он лично не заслуживает ни признательности, ни осуждения; сочувствовать ему мы не можем, обвинять его мы не вправе, потому что на плеча одного человека, хотя бы этот человек был исполин, нельзя наваливать ответственность за ошибки целой эпохи или за безгласность целого народа. Живые силы народов до сих пор играли в исторических событиях самую второстепенную роль; менялись лица, менялись политические

формы, разрушались и создавались государства, и все это большею частью проходило мимо народа, не нарушая и не изменяя ни между-человеческих, ни междусословных, ни экономических отношений. Конечно, какой-нибудь немецкий барон XIX века уже теперь не то, чем был его предок в XIV столетии; конечно, теперешний бюргер стоит к этому барону не в тех отношениях, в каких стоял средневековый бюргер к средневековому феодалу; конечно, и барон и бюргер, оба смотрят теперь не так на простого крестьянина, как смотрели на него во времена Тридцатилетней войны, но все эти перемены, которых существенная важность, конечно, не подлежит сомнению, произошли не на поле сражения, не на вселенском соборе, не на имперском сейме, не при смерти того или другого политического деятеля, не при вступлении на престол той или другой династии. Эти перемены совершились в области человеческого сознания, в той области, где живут и действуют мыслители и художники; внешние события, изменения политических форм, войны и союзы, революции и подвиги исторических деятелей имели на эти перемены значительное влияние; но точно так же подчиняли их своему влиянию землетрясения, наводнения, моровые язвы и неурожай; жизнь изменялась постоянно под влиянием разных случайностей, но источник и законы этой жизни лежали вне стихийных сил и случайных событий. Подростающие поколения воспринимали самые разнородные впечатления, зависевшие от внешних событий, происходивших перед их глазами; они чувствовали себя счастливыми или несчастными, поработанными или свободными, сытыми или голодными; но весь запас опыта и знания, собранный их отцами и дедами, переходил к этим подрастающим поколениям, вызывал деятельность их мысли, формировал их взгляд на жизнь и обуславливал собою их отношения к религии, к правительству, к обществу, к сословиям и к отдельной человеческой личности. В эту внутреннюю историю человечества входили как ингредиенты всякого рода внешние события; эти события производили известного рода впечатление; ряд впечатлений вызывал идею; идея вырабатывалась, видоизменялась, доходила до полной ясности выражения и потом в свою очередь порождала события.

<...>

Все осуществившиеся политические системы и большая часть неосуществившихся социальных утопий — не что иное, как ряд практических или теоретических ошибок, из которых вытекло или могло вытечь для человеческой личности много действительного горя. В истории мы видим на первом плане постоянно не удающиеся попытки создать что-нибудь прочное, способное постоянно удовлетворять потребностям человека. Эти попытки предпринимаются

отдельными личностями; побуждения, которыми руководствуются эти личности, большею частью мелки, узки и своекорыстны; всякий заметный деятель строит себе какую-то Хеопсову пирамиду и оплачивает издержки постройки потом и кровью подвластных людей; жизнь простого человека истрачивается на борьбу с нуждою, с притеснениями, с монополиями и монополистами; как бы ни была велика вера этого незаметного страдальца в возможность и в неизбежность лучшего будущего, во всяком случае эта вера не может служить ему утешением и поддержкою; он знает, что это лучшее будущее наступит для отдаленных потомков, что он, страдалец, его не увидит, что человечество со временем окончательно поумнеет и устроит свое житье-бытье очень удобно, но что до тех пор миллионы людей поплотятся за историческое движение жизнью, здоровьем и силами.

До конца XVIII столетия во всемирной истории стоит на первом плане судьба государства, той внешней политической формы, которой видоизменения часто не имеют ничего общего с народною жизнью. Жизнь народа идет в тени; на нее никто не обращает внимания; великими людьми считаются полководцы, умевшие залить кровью несколько тысяч квадратных миль, министры и дипломаты, умевшие оттягать у соседей несколько сел и городов, администраторы, выдумавшие какой-нибудь замысловатый налог, короли, говорившие с полным основанием: *l'état c'est moi!*\*— Когда эти великие люди давали себе труд бросить милостивый взор на жизнь простых смертных, тогда они обыкновенно находили, что все в этой жизни нелепо, все не на своем месте, все никуда не годится; они уверяли себя в том, что им предстоит задача все перестроить и усовершенствовать, и принимались за работу с непрошенным усердием и с полною уверенностью в успехе. Одним декретом они изменяли религию, другим декретом изгоняли взяточничество, третьим — выписывали из-за границы просвещение; великие люди не ошибались в том, что все было нелепо в жизни простых смертных; ошибки их начинались только тогда, когда они принимались отыскивать причины господствующей нелепости и пытались найти против нее лекарство; они не понимали того, что большая часть житейских нелепостей происходит именно от того, что вся жизнь отдельного человека сдавлена и спутана в своих проявлениях в угоду отвлеченного понятия государства, именно от того, что всякий отдельный человек бывает прежде всего чиновником, солдатом, учителем, купцом, министром, а собственно человеком бывает только в досужие минуты, в свободное от служебных обязанностей

---

\* Государство — это я (*фр.*) — выражение, приписываемое Людовику XIV. — *Ред.*

время. Этого великие люди, постоянно состоявшие на действительной службе, не понимали; им все казалось, что в жизни простых смертных мало порядка, мало однообразия и систематичности; они всё хотели нарядить в тот форменный мундир, который был им по вкусу; Филипп II хотел превратить своих подданных в монашествоующих католиков, Людовик XIV — в блестящих камерлакеев, а Петр I — в голландских шкиперов.

Личные наклонности и способности простых смертных, осыпавших неизреченными благодеяниями, не могли приниматься в соображение. Посудите сами: разве способен какой-нибудь неотесанный болван из нидерландских гёзов, или из овернских крестьян, или из русских мужиков рассуждать о том, что ему полезно, какой род занятий ему нравится, какая религия ему приходится по душе? Если эти неотесанные болваны осмеливаются возражать против благодетельных распоряжений великих людей, то они, конечно, делают это по грубому невежеству, по крайнему тупоумию или по злонамеренному упорству; их надо вразумить, их надо обтесать, их надо осчастливить во что бы то ни стало. За средствами дело не станет: у Филиппа II на то есть инквизиция; у Людовика XIV — драгонады, Бастилия и *lettres de cachet*; у Петра I есть дубинка и кнут. И вот такими-то средствами пробавлялись с тех пор, как мир стоит, все великие люди, осыпавшие толпу простых смертных горами своих благодеяний и озарявшие целое столетие блеском своего имени и своих подвигов. Только в конце XVIII века простые смертные заявили, наконец, довольно громко, что им надоели как благодеяния, так и педагогические средства, при помощи которых проводились в их жизнь эти великие и богатые милости. Со времени этого заявления история европейского Запада оживилась и получила новый характер; великие люди сделались поосторожнее в замыслах и поразборчивее в средствах, а простые смертные начали думать, что, чего доброго, можно жить и своим умом. Мы имеем неосторожность думать, что эти простые смертные вовсе не так сильно ошибаются, как это может показаться с первого взгляда. Нам кажется, что жить своим умом по меньшей мере приятно, и потому те периоды всемирной истории, во время которых благодетели человечества никому не позволяли жить своим умом, наводят на нас тоску и досаду. Великие люди, реформировавшие жизнь простых смертных с высоты своего умственного или какого-либо другого величия, по нашему крайнему разумению, кажутся нам все в равной мере достойными неодобрения; одни из этих великих людей были очень умны, другие — замечательно бестолковы, но это обстоятельство нисколько не уменьшает их родового сходства; они все насильовали природу человека, они все вели связанных людей

к какой-нибудь мечтательной цели, они все играли людьми, как шашками; следовательно, ни один из них не уважал человеческой личности, следовательно, ни один из них не окажется невиновным перед судом истории; все поголовно могут быть названы врагами человечества; но там, где виноваты все, там никто не виноват в отдельности; порок целого типа не может быть поставлен в вину неделимому. Говоря о Петре, мы лично против него не можем иметь неприязни; но на всей деятельности Петра лежит та печать [проклятия и отвержения], которая тяготеет над личностями и деятельностью Людовика XI, Филиппа II, кардинала Ришелье, Меттерниха и разных других господ, не сходных между собою ни по размеру способностей, ни по масштабу деятельности, ни по образу мыслей, но при всем том имевших один общий, вечный пароль — вражду против личной свободы и умственной инициативы отдельного человека. Все, что сделал Петр, [то оказалось бесплодным, потому что все это было делом его личной прихоти, все это было барскою фантазиею,] все это вводилось и учреждалось помимо воли тех людей, для которых это все, повидимому, предназначалось.

Как распоряжался Петр на поприще государственной администрации, этого мы не будем рассматривать; в этой области, как известно, произволу его не было никаких границ. В книге г. Пекарского мы встречаемся с Петром как с просветителем России; мы, следовательно, имеем случай взглянуть на самую блестящую часть его исторической ореолы. Тут нет ни пыток, ни казней, ни ссылок, ни даже исторической дубинки; тут ведется список, и притом список очень подробный, бескровным благодеяниям, доставшимся нашему отечеству из рук великого деятеля. Эти бескровные благодеяния в своем роде очень замечательны; в совокупности своей они доказывают, что можно быть гениальным человеком и в то же время не иметь самого элементарного понятия о тех необходимых условиях, без которых немыслима разумная человеческая деятельность.

Весь ряд отвлеченных рассуждений, которыми до сих пор была набита моя статья, клонился к тому, чтобы определить наши отношения к личностям, подобным Петру Великому. Я доказал или по крайней мере старался доказать следующие идеи.

1) Деятельность всех так называемых великих людей была совершенно поверхностна и проходила мимо народной жизни, не шевелила и не пробуждала народного сознания.

2) Деятельность великих людей была ограничена тем кругом идей, который был в их время достоянием общего сознания.

3) Деятельность великих людей была чисто пассивна, потому что сами они, как и все люди вообще, продукт известных условий, не зависящих от их свободного выбора.

4) Деятельность великих людей была постоянно вредна, потому что претензии этих господ постоянно превышали их силы.

Эти идеи применяются вполне к деятельности Петра. Я беру теперь книгу г. Пекарского, извлекаю из нее некоторые характерные факты и рассматриваю их с той точки зрения, которая установлена предыдущими рассуждениями.

## V

«Бывши в Лейдене, — пишет г. Пекарский, — Петр не преминул посетить другую медицинскую знаменитость того времени, доктора Бергавена, и осматривал также анатомический театр. Сохранилось известие, что там царь долго оставался перед трупом, у которого мускулы были раскрыты для насыщения их терпентином. Петр, заметив при том отвращение в некоторых из своих русских спутников, заставлял их разрывать мускулы трупа зубами» (стр. 10). Вот, видите ли, великому человеку любопытно смотреть на обнаженные мускулы трупа, а простым смертным этот вид кажется неприятным; надо же проучить простых смертных, имеющих дерзость находить не по вкусу то, что нравится великому человеку; вот великий человек и заставляет их зубами разрывать мускулы трупа; должно сознаться, что это средство побеждать неразумное отвращение настолько же изящно, насколько оно действительно. Наверное, спутники Петра, испытавшие на себе это отеческое вразумление, после этого случая входили в анатомические театры без малейшего отвращения и смотрели на трупы с чувством живой любознательности. Если бы даже случилось, что некоторые из них заразились от прикосновения гнилых соков к нежным тканям рта, то и это беда небольшая — тем действительно будет урок, данный остальным присутствующим; они, наверное, поймут, что простому смертному нельзя иметь собственного вкуса, что главная и единственная обязанность простого смертного — смотреть в глаза великому человеку, отражать на своей физиономии его настроение и с надлежащим подобострастием любоваться теми предметами, которые обратили на себя его благосклонное внимание. На анекдоте, приведенном в книге г. Пекарского, не стоило бы останавливаться, если бы в этом анекдоте не выражались самым рельефным образом типические черты благодетельных преобразований великого Петра. Кому были нужны эти преобразования? Кто к ним стремился? Чьи страдания облегчились ими? Чье благосостояние увеличилось путем этих преобразований? Если бы подобные вопросы могли дойти теперь до слуха Петра, они, наверное, показались бы ему совершенно непонятными, и, наверное, наш гордый самодержец не дал бы себе

труда отвечать на них что бы то ни было. Мне кажется, те историки и публицисты, которые говорят, что все преобразования Петра клонились ко благу русского народа, повторяют фразу, лишенную внутреннего содержания, или, что то же, переносят на эпоху и на личность Петра такие понятия, которые возникли гораздо позднее и, кроме того, не в той сфере, в которой вращаются деятели, подобные Петру. Петр формировал себе исполнителей как в былое время богатый помещик, отдавая в учение дворовых мальчишек, формировал себе полный штат поваров, сапожников, портных, столяров, кузнецов и шорников. — Только обширная и разнообразная деятельность могла удовлетворять энергическую природу Петра; только громкая, европейская известность могла польстить его громадному честолюбию. Петру необходимо было постоянно над чем-нибудь работать и постоянно чем-нибудь обращать на себя внимание современников; как человек умный, Петр мог удовлетворять этим потребностям своей природы, не делая таких нелепых эксцентричностей, в какие пускались не только в древности римские императоры, но даже в XVIII веке разные немецкие князья и князьки, одержимые бесом тщеславия и надувавшиеся, как лягушки, в подражание жирному волу, Людовику XIV. Благодаря своему замечательному уму он, человек, не имевший во всю свою жизнь никакой цели, кроме удовлетворения крупным прихотям своей крупной личности, успел прослыть великим патриотом, благодетелем своего народа и основателем русского просвещения. Действительно, нельзя не отдать Петру Алексеевичу полной дани уважения: немногим удастся так ловко подкупить в свою пользу суд истории.

Бывши в Голландии, Петр дал Яну Тессингу привилегию печатать и присылать в Россию русские книги. В грамоте встречается следующее место: «и видя ему, Ивану Тессингу, к себе нашу, царского величества, премногую милость и жалованье в печатании тех чертежей и книг, показать нам, великому государю, нашему царскому величеству, службу свою и прилежное радение, чтоб те чертежи и книги напечатаны были к славе нашему, великого государя, нашего царского величества, превысокому имени и всему нашему российскому царствию меж европейскими монархи к цветущей, наивящей похвале, и ко общей народной пользе и прибытку, и ко обучению всяких художеств и ведению, а пониженъя б нашего царского величества превысокой чести и государства наших в славе в тех чертежах и книгах не было»... Не правда ли, господа читатели, надо быть самым злонамеренным человеком и неисправимым скептиком, чтобы по прочтении этого места грамоты хоть на одну минуту усомниться в чистоте

и самоотвержении того патриотизма, который одушевлял нашего венценосного прогрессиста. Правда, сказано, что книги и чертежи должны быть напечатаны «к славе нашему, великого государя, нашего царского величества, превысокому имени» и к «цветущей, наивящей похвале нашему царствию», но вслед за тем словами «к общенародной пользе и прибытку» выражена истинно трогательная заботливость о благосостоянии простых смертных. Та же трогательная заботливость проглядывает в предостережении не печатать в тех чертежах и книгах никакого «пониженья». Петр хотел воспитывать свой народ и, подобно всем добродетельным педагогам, понимал, что есть много таких вещей, которые детям не по возрасту, которые могут (говоря высоким слогом) нарушить первобытное спокойствие их мысли и осквернить девственную чистоту их розового мирозерцания.

Трогательная заботливость Петра вполне оправдывается неразвитостью его подданных; вот что пишет о русском народе один из современников нашего преобразователя: «Притом же москвитяне, как и вам это известно, нисколько тем не интересуются; они всё делают по принуждению и в угоду царю, а умри он — прощай наука!» Эти простые слова современника, смотревшего на предприятие Тессинга с чисто коммерческой стороны, подтверждают высказанную мною идею о том, что деятельность великих людей поверхностна и непрочна в своих результатах; эти слова бросают также яркую полосу света на характер петровских преобразований; в основе этих преобразований лежит каприз или по меньшей мере доктрина; исполнительными средствами являются насилие и принуждение.

[Опять педагогическая картина: ребенку не хочется учиться, а честолюбивому папеньке или усердному преподавателю хочется, чтобы ребенок учился; честолюбивая маменька желает похвастаться перед соседкою знаниями и прилежанием своего сынка; а усердный преподаватель вычитал из своих книжек, что его воспитаннику пора жить умственной жизнью и находить удовольствие в изучении букваря. Стоит ли обращать внимание на волю неразумного ребенка? Конечно, нет. Заупрямится — можно поставить на колени, потом высесть. И прекрасно: вам и розги в руки, честолюбивая маменька и усердные преподаватели!]

Много ли сделали голландские издания для «общей народной пользы и прибытка» — положительно неизвестно, но «о славе превысокому имени» и о «цветущей похвале царствию» радели всеми силами своей изобретательности как Тессинг, так и преемник его, Копиевский. Вот, например, описание реки Москвы: «Она паче всех рек прославися зело и именем Мосоха, праотца российского, и пресветлейшим престолом пресветлейшего и великого монар-

ха». Далее: «Зде удивитесь! приидите все боящиеся, приидите и видите дела божия, яко господь огради люди свои на восток от запада и от полуденный страны тремя великими и славными реками; даде господь бог и пастыря единого всем, возлюбленного помазанника своего, пресветлейшего и великого государя, его же величество вознесе даже до небесе с высокого на высочайший степен, паче всех царей земных». По прочтении этого места нам оставалось только пожалеть, что книжных дел мастер, Копиевский, не писал стихов; наш великий Державин, думал я, который истину царям с улыбкой говорил, имел бы себе в этом господине достойного предшественника; теперь, продолжал я размышлять, Копиевский может только служить предтечею историографов: Карамзина, Устрялова, и Рафаила Зотова, и... ну, да всех не перечтешь. Но не успел я перевернуть две страницы в исследовании г. Пекарского (которое, сказать правду, читается очень медленно), как мне пришлось взять назад свое опрометчивое сожаление. Оказалось, что Копиевский преуспел во всех отраслях заказной литературы. Для «цветущей и наивящей славы превысокого имени» он вдохновил себя лирическим жаром и описал взятие Азова «стихами поетыцкими», которые, вероятно, в свое время приводили русских читателей в благоговейное недоумение. Чтобы превознести победу русских, привилегированный составитель книг воспевае сие могущество побежденной Турции;

Страшно было еже впасть азийского змия  
 В руце, яко и сама европейская выя  
 Жестокия ярости его убоися;  
 Сетоваша все страны в едину сходяся,  
 Советоваша купно, но не премогоша,  
 Злочестивые силы зело превзыдоша  
 Нощная же луна их нача помрачати  
 И всю подсолнечную тьмою наполнати.

Новомесячников лунных много сотвори,  
 Благодестие и любовь, веру разори  
 Православную: вместо же ее Махомета  
 Неверие приведе мрачная планета.

Вот какою поэзиею Петр угощал своих неразумных подданных, но подданные, по крайней тупости и загрубелости, не умели восхищаться «поетыцкими» красотами. Выше мы видели образчик той науки, которую, по приказанию Петра, фабриковали в Голландии; наука эта, несмотря на очевидную свою привлекательность, также не пронимала русского ума; еще выше мы видели, каким образом Петр в лейденском анатомическом театре развивал в молодых рос-

сиянах склонность к реальному образованию; эти усилия Петра, несмотря на свою несомненную энергичность, также оставались безуспешными; Петр везде встречал скрытое равнодушие или даже глубокое, затаенное отвращение к «поэтыцким стихам», к науке Копиевского и к реальному образованию лейденского анатомического театра. Он имел дело с варварами, и эти варвары без его просвещенного влияния непременно погрязли бы в тине пороков и во мраке невежества; будь на месте Петра другой деятель, менее крупных размеров, он непременно махнул бы рукою на нелепых варваров и предоставил бы этих неблагодарных людей их печальной участи.

Но Петр был великодушен до конца; видя безуспешность своих собственных усилий, он стал просить советов у знающих людей; махнуть рукою на варваров он никак не решался, несмотря на то, что варварам до смерти хотелось, чтобы их оставили в покое. — Петр услышал, что есть в Германии немец Лейбниц, человек, которого все считают чрезвычайно умным и который знает все, что доступно уму человеческому; Петру захотелось посмотреть на этого диковинного человека; он повидался с ним в Торгау, произвел его в тайные советники, положил ему жалование в 1000 рейхс-талеров и начал советоваться с ним, как бы обтесать русских варваров и насадить в России древо познания. Лейбниц был человек ловкий, придворный и политичный; и философская система его была так устроена, что она должна была нравиться великим людям; и сам он умел держать себя с надлежащею приятностью в высоких сферах; и манеры, и мягкие речи, и направление советов — все показывало в Лейбнице, что он человек бывалый, полированный, вполне достойный чина тайного советника и звания камергера или церемониймейстера. Петру, умевшему угадывать истинное достоинство людей, это придворное светило германского ученого мира очень понравилось с первого взгляда. Вероятно, он подумал про себя, что было бы очень приятно завести у себя в Петербурге своего доморощенного Лейбница, и неоцененные плоды истинного просвещения, вероятно, в эту минуту показались ему еще неоцененнее. Если Петр оценил Лейбница, то Лейбниц с своей стороны, конечно, разгадал Петра с первых двух слов. Он тотчас распознал слабую струну, обворожил венценосного собеседника картинами будущей русской цивилизации, которая ему, Петру, будет обязана своим происхождением, и в несколько свиданий совершенно упрочил за собою и пожалованный чин и положенное жалование. Когда Петр уехал в Россию, тогда Лейбниц стал писать к нему письма; эти письма, которые Лейбниц, конечно, выдавал за плоды долговременных и глубоких размышлений, наполнены советами, как ввести в Россию просвещение; Лейбницу было очень приятно

получать ежегодно по 1000 талеров, но, чтобы оставить за собою это жалование, надо было хоть для виду хлопотать об русской цивилизации; иначе Петр, не любивший тунейдцев, мог прекратить выдачу денег; и вот Лейбниц напоминает о своем существовании и письмами своими показывает вид, что он принимает к сердцу горькую участь русских варваров, погибающих в бездне невежества. — Для спасения несчастного народа он считает нужным произвести в разных местах России магнитные наблюдения, разыскать — соединен ли американский материк с азиатским, устроить сообщения с Китаем и меняться с ним не только товарами, но также знаниями и искусствами; собрать и сохранить памятники греческой церкви, составить словари языков инородцев; учредить девять правительственных коллегий, «внутреннее устройство которых похоже на механизм часов, где колеса взаимно друг друга приводят в движение»; навербовать за границу побольше ученых; одних забрать в Россию, других оставить на месте, чтобы они, получая жалование, сообщали известия о том, что происходит в ученом мире; построить кабинеты, лаборатории и обсерватории, развести ботанические сады, библиотеки и музеи и набить последние инструментами, моделями, медалями и древностями; учредить академии, университеты и школы в Петербурге, в Киеве, в Москве и в Астрахани. В истории сношений Петра с Лейбницем всего удивительнее то, что умный человек, подобный Петру, поддавался такому наглому шарлатанству и платил деньги за такие полезные советы. Этот странный факт можно объяснить или тем, что для Петра общая идея просвещения расплывалась в какие-то привлекательные, но совершенно неопределенные образы, или же тем, что он платил Лейбницу деньги и поддерживал с ним сношения просто из тщеславия, для пущей важности. Легко может быть, что тут действовали в одно и то же время обе причины; иначе я не умею себе объяснить, каким образом Петр мог принимать за чистую монету советы Лейбница — производить магнитные наблюдения, вывозить из Китая знания, собирать памятники и составлять словари для того, чтобы вызвать к жизни или пробудить от усыпления умственные силы русского народа. [Тут вся штука в том, что Петру было так же мало дела до русского народа и до его умственных сил, как и самому Лейбницу.] Ученый немец, очевидно, хотел только удержать за собою жалование, а гениальный преобразователь хотел только обставить самого себя на европейский манер, хотел, чтобы у него было так, как у знатных господ бывает. Там заведены академии — и у нас давай заводить академии; там музеи — и у нас музеи; там ученые — и у нас пускай будут ученые; если нельзя найти ученых в России, надо из-за границы выписать; если уче-

ным, выписанным из-за границы, нечем заниматься собственно в России, если их сочинения, напечатанные на русском языке, не найдут себе ни покупателей, ни читателей — и это не беда. Пусть занимаются в Петербурге тем же, чем занимались в Берлине, или в Марбурге, или в Гейдельберге, пусть печатают свои сочинения на французском, или на немецком, или на латинском языке, пусть печатают хоть на санскритском, дело не в сочинениях и тем более не во влиянии этих сочинений на русское общество: дело именно в том, что они будут жить в Петербурге, состоять на русской службе и составлять из себя русскую академию. Дело не в действии, а в декорациях. Вот чем Петр отдавал дань своему тщеславному, мишурному веку; он был бережлив в своем образе жизни, он жил в тесных комнатах, носил потертое платье, пил простую анисовую водку и в то же время заводил бесполезнейшую академию и платил шарлатану Лейбницу такое жалование, на которое можно было сшить десять роскошных костюмов. [Вы скажете, может быть: тот помещик, который разоряется на библиотеку, во всяком случае обнаруживает большее развитие ума и вкуса, чем тот, который садит деньги на псовую охоту; а я вам на это скажу, что нельзя произносить суждения, не взглядевшись в дело: если помещик, разоряющийся на библиотеку, страстный охотник до чтения, тогда ему и книги в руки; но если он заводит библиотеку для-ради важности, тогда он оказывается глупее того, который разоряется на псарню. Последний действует по живому влечению, а первый просто поступает как обезьяна. В том и в другом случае не мешает спросить: чьи они тратят деньги? Если свои, тогда и толковать не об чем.]

## VI

Немцы, которых Петр старался залучить к себе, чтобы сделать из них придворные украшения, понимали слабость преобразователя к умственному блеску и, стараясь эксплуатировать эту страстишку, ломили неслыханные цены. Агенты Петра долго ухаживали за Христианом Вольфом, за тем самым, который, как известно, был впоследствии учителем Ломоносова. Они всё приглашали его в Петербург, а Вольф все отнекивался и, наконец, порадовал их следующим ответом: он потребовал по 2000 рублей ежегодного жалования, обещал прослужить в России пять лет и, по истечении этого срока, желал получить единовременно сумму в 20 000 рублей. «Это немного, — продолжает он, говоря об этих условиях в письме к Блументросту, — если принять во внимание, что король Альфонс пожаловал еврею Газану за составление Альфонсовых

астрономических таблиц, Александр Великий — Аристотелю за сочинение «*Historiae animalium*»\* и покойный король Людовик Великий — Винцентию Вивиани, математику великого герцога флорентийского, за восстановление утраченной книги из высшей геометрии. Не говоря об огромных суммах, полученных Аристотелем от Александра Великого, всем известно, что еврей Газан имел от Альфонса 400 тысяч дукатов, а Вивиани от Людовика Великого такую сумму, на которую он выстроил во Флоренции огромный палаццо, выгравированный при его геометрической книге. Что же все сделанное этими людьми в сравнении с осуществлением исполинского замысла его императорского величества? Для того требуется муж опытный во всех философских и математических науках. В бозе почивший прусский король пожаловал Лейбницу гораздо более, нежели сколько я требую, за то, что он заботился заочно о Берлинской академии». «Исполинский замысел его императорского величества», о котором говорит Вольф, состоял просто в том, чтобы основать в Петербурге академию. Вольф, очевидно, называет этот замысел исполинским с тою же целью, с какою он выписывает исторические примеры, замечательные по своей назидательности. Ему хочется выторговать себе выгодные условия, и потому он преувеличивает трудность задачи, выставляет на вид черты похвальной щедрости. Можно себе представить, во сколько обошлась бы нам наша бесценная академия, если бы действительно за блеск имени пришлось платить по 20 000 рублей. К счастью, должно сознаться, что умственное тщеславие не вполне ослепляло Петра; он позволял себе платить по 1000 талеров Лейбницу ни за что ни про что, но когда дело шло о такой сумме, какую требовал Вольф, тогда преобразователь наш становился внимательнее и недоверчивее. Блументрост не решился даже сразу доложить Петру о притязаниях немецкого философа и отвечал Вольфу с некоторым оттенком иронии: «что касается до 20 тысяч рублей, то если мы даже предположим, что наш всемилостивейший монарх превосходит Александра Великого, Альфонса и Людовика Великого в великодушии и любви к искусствам и наукам, а ваше высочорodie по своей учености и услугам, оказанным ученому миру вашими мудрыми сочинениями, выше Аристотеля, Газада и Вивиани, все-таки это такая сумма, о которой императору следует представить с осмотрительностью». Из этого письма Блументроста мы видим, что Петру действительно очень хотелось прослыть великодушным покровителем человеческой мудрости, но, во-первых, [как неукротимый деспот,] он хотел, чтобы эта мудрость стала к нему в зависимые отношения льстивого

---

\* «Исследования о животных» (лат.). — Ред.

клиента, во-вторых, как русский человек, любящий выгадать и выторговать, он хотел нанять мудрецов подешевле. Петр был плохой меценат; кроме того, он не знал или не хотел знать, что меценаты вообще вредят развитию науки, что честные деятели мысли бегут от их покровительства и что продажные ученые окончательно развращаются под их влиянием.

Профессор анатомии Рюйш сообщил Петру Великому открытый им способ бальзамировать трупы, с тем чтобы Петр хранил его в тайне. «Однако, — говорит г. Пекарский, — царь передал секрет Лаврентию Блументросту, тот Шумахеру, который, в видах подслужиться лейб-медику Ригеру, рассказал ему о способе Рюйша. Ригер, покинув Россию, опубликовал его в «Notitia rerum naturalium»\*, статья «Animal»\*\*. Кажется, этот анекдот не требует комментария, и, кажется, истолковать это событие в пользу нашего преобразователя не сумеют самые неисправимые его поклонники.

Бывши в Копенгагене, Петр получил там для своей кунсткамеры половину окаменелого хлеба и деревянную обувь, которую носили лапландцы. «Взамен их царь просил хранить в Копенгагенском музее русские лапти». Нельзя не улыбнуться этому ребяческому желанию великого человека; ему захотелось русскими лаптями заявить в одном из европейских музеев о существовании своего государства. Благодаря этому желанию русские лапти попали на почетное место, среди разных монстров и раритетов.

Вот выписка из указа о доставлении в кунсткамеру со всех концов России уродов, редкостей и пр. «Того ради паки сей указ подновляется, дабы конечно такие, как человечьи, так скотские, звериные и птичьи уроды, приносили в каждом городе к комендантам своим, и им за то будет давана плата; а именно: за человеческую — по 10 р., за скотскую и звериную по 5, а за птичью по 3 р. за мертвых. А за живые: за человеческую по 100 р., за скотскую и звериную по 15 р., за птичью по 7 р. А ежели очень чудное, то дадут и более; буде же с малою отменой перед обыкновенным, то меньше. Еще же и сие прилагается: что ежели у нарочитых родятся и для стыда не захотят принести, и на то такой способ: чтоб те неповинны были сказывать, кто принесет, а коменданты неповинны их спрашивать — чье? Но приняв, деньги тотчас дав, отпустить. А ежели кто против сего будет таить, на таких возвещать; а кто обличен будет, на том штрафу брать вдесятеро против платежа за оные и те деньги отдавать извечникам». Великий преобразователь находил нужным поощрять доносчиков для того,

---

\* «Понятие о природе» (лат.). — Ред.

\*\* «Животное» (лат.). — Ред.

чтобы наполнять кунсткамеру монстрами и раритетами; должно сознаться, что здесь очень мелкая цель оправдывала очень некрасивые средства; впрочем, наверное, найдутся у нас такие историки, которые признают это распоряжение не только извинительным, но даже полезным, премудрым и необходимым. Таков был дух времени, скажут они, таков характер народа! Вероятно, г. Щебальский, открывший, как известно, ту великую психологическую истину, что донос в характере русского народа;<sup>20</sup> основал свои наблюдения на документах, подобных вышеприведенному указу. Вероятно, он принял распоряжение Петра Алексеевича за проявление русского народного характера; если это действительно так случилось, то можно себе представить, что сближение между великими деятелями и простыми смертными не всегда бывает выгодно и приятно для последних. Если бы мы судили обо всех испанцах по Филиппу II, обо всех итальянцах по Фердинанду Неаполитанскому, обо всех англичанах по Генриху VIII, то, вероятно, испанцы, итальянцы и англичане почувствовали бы себя глубоко и притом несправедливо оскорбленными. — Указ Петра произвел свое действие; с разных концов России потянулись в Петербург живые и мертвые уроды; если бы за нравственное и умственное уродство определена была премия, тогда бы, вероятно, количество прибывающих субъектов было еще значительнее, — тогда, может быть, пришлось бы содержать при кунсткамере и Никиту Зотова, и Кесаря Ромодановского, и Шумахера, и даже самого Александра Даниловича Меншикова. Из денежных отчетов кунсткамеры от 1719 до 1723 годов видно, что при ней содержались живые монструмы Яков, Степан и Фома; на каждого из них выходило по рублю в месяц. В Заиконоспасской академии, во время Ломоносова, отпускалось на каждого ученика по алтыну в день, следовательно, по 90 копеек в месяц. Живые монструмы получали больше; следовательно, при великом основателе просвещения в России живым уродам было удобнее жить на свете, чем молодым студентам.

Радея о процветании наук, искусств и уродов в России, Петр Великий заботился также о том, чтобы просвещенная Европа восхищалась не только русскими лаптями, поставленными в Копенгагене, но также учеными учреждениями, возникавшими в юном Петербурге. Петр держал на жаловании писателей, обязанных прославлять распоряжения русского правительства. Главным литературным агентом Петра был барон Гюйсеен. Немецкий журнал «Europäische Fama» помещал на своих страницах благорасположенные статьи, которые, по словам г. Пекарского, «приемами своими и стилем напоминают «Le Nord», современный бельгийский журнал. — В книге г. Пекарского подробно рассказана полемика

между Нейгебауэром и Гюйссеном. Нейгебауэр был наставником Алексея Петровича, но не ужился в России и, уехавши за границу, издал брошюру, в которой описал самым беспощадным образом грязные стороны новорожденной цивилизации. Гюйссен написал и издал опровержение; Нейгебауэр отвечал новою брошюрою, и тем дело кончилось. Полемика эта касается некоторых любопытных фактов и особенностей русских нравов.

Нейгебауэр говорит в своей брошюре, что иностранцы; приглашаемые в Россию, не находят в этой стране ни одного из тех удобств, которыми их стараются заманить. Им обещают большое жалование, и не платят денег; им обещают чины и почет — а на проверку выходит, что их бесчестят, бьют батогами, награждают пощечинами, шпицрутенами и ударами кнута. Нейгебауэр приводит множество примеров. Вот некоторые из наиболее типичных.

Майора Кирхена царь в Архангельске, перед полком, в присутствии голландских и английских купцов, также морских офицеров, назвал е....м... (Hurren Solm) и, плюнув ему в глаза, выхватил у него шпагу и бросил к ногам, говоря: «ты, е....м..., хочешь быть майором, а не стоишь быть мушкетером».

И это за то, что Кирхен, прослужив целый год майором, не хотел быть капитаном и уступить свое место одному русскому. — Капитан Лудвиг, прибыв волонтером к осаде Нотебурга — а таким волонтерам царь обещал по 300 рублей и майорский чин, — потерял потом майорское жалование и 100 рублей и получил от царского величества собственноручную пощечину во время входа в Москву за то, что он, для правильнейшего расположения орудий, положил в одну яму дерево, которому царь хотел дать иное назначение. — 1700 года генерал и посланник польский, барон Ланге, был пожалован от царя собственноручно ударами и пр. и пр. за то, что он не позволял над собою шутить царскому любимцу, некоему пирожнику (Bäckerjungen), по имени Александру Даниловичу Меншенкопфу (Menschenkopff). — Полковник Штрасберг наказан воеводою города, где он стоял в гарнизоне, батогами единственно потому, что не хотел действовать вопреки царского указа. — Капитан Форбус был наказан шпицрутенами из шомполов, а перед тем генерал из русских, переломив собственноручно его шпагу и сказав: «теперь я хочу тебя ошельмовать», дал ему пощечину.

Вот какие сведения сообщает Нейгебауэр о батогах:

Батогами называются небольшие жидкие палки длиною с аршин. Их берут служители в руки и садятся на голову и ноги раздетого человека и бьют его палками до тех пор, пока двадцать или тридцать из них не изломаются; потом наказываемого переворачивают и бьют по животу, наконец по бедрам и икрам.

Большая часть обличений Нейгебауэра грешит своею голословностью; в каждом из них есть что-нибудь необъясненное и недосказанное. Так, например, в рассказе о майоре Кирхене мы не видим, почему Петр хотел передать его место русскому офицеру; не видим также, каким образом Кирхен отстаивал свои права; бранные слова, произнесенные при этом случае царем, остаются голым фактом, не находящимся в связи с предшествующими событиями и не вытекающим ни из поведения Кирхена, ни из положения самого Петра. Рассказы о капитане Лудвиге, о бароне Ланге, о полковнике Штрассберге и о капитане Форбусе точно так же дают нам одни голые, ничем не объясненные факты. К этой особенности обличительной брошюры Нейгебауэра было бы не трудно придаться; но барон Гюйссен, принявший на себя обязанность защищать честь русского правительства перед общественным мнением Европы, заблагорассудил не заметить этого недостатка обличительной брошюры; он, вероятно, боялся, чтобы Нейгебауэр, задетый за живое обвинением в голословности и бездоказательности, не привел в подкрепление своих рассказов такие факты и аргументы, которые зажали бы рот официальному адвокату России, вместо того чтобы требовать от Нейгебауэра доказательств и дальнейших разъяснений, Гюйссен в своем возражении просто старается покрепче обругать автора обличительной брошюры и превознести громкими похвалами те важные лица, которые пострадали от язвительных рассказов и замечаний памфлетиста. Отстаивая Меншикова, Гюйссен решает даже придумать для него небывалую генеалогию; он утверждает, что Меншиков происходит из хорошей дворянской фамилии на Литве и что отец его был обер-офицером Семеновского полка. Потом он говорит, что римский император, во уважение к блестящим качествам Меншикова, по собственному побуждению возвел его в достоинство имперского князя. Конечно, в наше время ни один порядочный человек не поставит Меншикову в вину его плебейское происхождение, но сочинение произвольной генеалогии дает нам возможность судить как об авторской честности Гюйссена, так и о высоте нравственных требований тех людей, по приказанию которых этот паразит пускался в литературную деятельность. Из отзывов Гюйссена о Меншикове мы можем также составить себе понятие о том, насколько можно доверять остальным возражениям этого нанятого литератора против Нейгебауэра. Впрочем, большая часть возражений до такой степени слабы и нелепы сами по себе, что им нельзя было бы поверить даже в том случае, если бы мы не имели никаких данных против литературной честности автора. Вот, например, каким образом Гюйссен старается парализовать описание батогов, приведенное выше из брошюры Нейгебауэра.

«Батоги, кнут и другие наказания, — пишет полемизирующий барон, — так подробно и обстоятельно описаны им, что можно думать, что автор часто имел все это перед глазами и увеселял свои нежные чувства подобными спектаклями. По всей справедливости можно пожелать таковых наказаний, как заслуженную награду, всем пасквилянтам, особенно же тем из них, которые нападают грубым образом на коронованных особ, на власть и честь их верных министров, что сделано в настоящей постыдной брошюре». — Это место может показаться очень остроумным и игривым, но самые пристрастные читатели будут принуждены согласиться, что рассказ Нейгебауэра о наказаниях батогами остается не опровергнутым. Отрицать батоги не решается сам Гюйссен, решившийся отрицать плебейское происхождение Менпшкова; не решается он, конечно, не из уважения к истине, а, вероятно, потому, что отрицать батоги значило бы восставать против господствовавших обычаев и учреждений; отрицать батоги значило бы находить их применение предосудительным; такого рода дерзкий образ мыслей мог не понравиться великому Петру; не желая рисковать своею благородного спиною, барон Гюйссен предпочел обойти вопрос о действительном существовании батогов в России и обрушиться всею тяжестью своего негодующего остроумия на пасквилянтов; такой полемический оборот был, конечно, удобнее и безопаснее. Я считаю бесполезным долее останавливаться на полемике Гюйссена с Нейгебауэром; приведенные мною отрывки показывают ясно, каким образом Петр пользовался содействием печатной гласности и насколько он был разборчив в выборе орудий и средств.

## VII

Личные отношения Петра к несчастному Алексею Петровичу дают некоторые материалы для оценки общих воззрений царя на просвещение и на отношения науки к жизни. «Одною из важнейших причин, — говорит г. Пекарский, — неудовольствия его на сына, царевича Алексея Петровича, было нерасположение последнего к военным приемам и дисциплине, что ясно высказано в письмах царя при деле об осуждении царевича» (стр. 122).

В «Europäische Gama» в официально хвалебной статье о воспитании Алексея Петровича встречается следующий пассаж: «Его царское величество старается, чтобы московский принц, единственный сын его, шел по его стопам и мог бы славу российской монархии вознести на ту степень, на которую достославный родитель намерен поставить посредством недавних побед своих над турками, татарами

и другими неприятелями. Царевич не только русским, но и иностранцам известен под именем пресветлейшего солдата» (стр. 137). Надо отдать справедливость составителю этой панегирической статьи; свою наивную похвалу он сильнее всякого памфлетиста насолил Петру во мнении мыслящего потомства. Титул «пресветлейшего солдата», приданный Алексею Петровичу льстецами русского правительства, дает нам самое рельефное понятие о том, чего требовал Петр от своего сына и во имя чего он насилем и наказаниями ломал естественные наклонности молодого человека. Мистические стремления Алексея, его пристрастие к старине, его юношеские пороки — все объясняется военною форменностью воспитания, все объясняется тем глубоким отвращением к [солдатызму], которое развил в нем Петр, старавшийся насильно приохотить сына к ружейным приемам и к военному артикулу. Мы видели, какими средствами Петр развивал в молодых русских любовь к анатомии; вероятно, такие же средства были пущены в ход для того, чтобы действительно превратить Алексея в пресветлейшего солдата. Не знаю, превратились ли русские посетители лейденского анатомического театра в ревностных медиков, но достоверно известно, к чести Алексея, то, что его природа не подчинилась воле великого родителя и разбилась в неравной борьбе.

В той же статье «Europäische Fama» встречается следующее любопытное место об Алексее: «Его холерико-сангвинический темперамент дает ему нужные силы, и пресветлейший родитель с строгою заботливостью запретил ослаблять или портить нежным воспитанием его юность: поэтому его сиятельство, князь Меншиков, согласно родительской воле, обходится с ним без всякой излишней лести, и часто можно видеть, что царевич за обедом встает с своего места и становится позади родительского кресла, чтобы тем выказать сыновнее почтение, а его величество веякий раз ему приказывает садиться». Надо подивиться бестолковости тех людей, которых русское правительство облакало в звание официальных хвалителей. Скажите на милость, какое отношение имеют заботы Петра об укреплении сил молодого Алексея к той нелепой застольной комедии, о которой «Europäische Fama» рассказывает с очевидными усилиями найти ее похвальною! Если Алексей действительно становился за кресла Петра, то с какой же стати публиковать об этом в газетах? — Приведенный факт показывает нам образчик той субординации, в которой Петр старался держать всех окружающих, начиная с членов собственного семейства. Сохранив этот факт для потомства, панегиристы Петра оказали ему медвежью услугу; впрочем, иначе и быть не могло; панегиристы и продажные писатели все таковы, потому что люди умные и даро-

витые, способные существовать честным трудом мысли, не торгуют своим пером и не принимают на себя унижительной обязанности хвалить и порицать против убеждения.

Инструкция, данная Толстому при его отправлении в заграничное путешествие в 1697 году, показывает, что именно Петр считал достойным изучения и полезным для молодых русских, отправляемых в погоню за просвещением. Эта инструкция включает в себе следующие параграфы или «статьи последующие учению»: «1) Знать чертежи или карты, компасы и прочие признаки морские. 2) Владеть судном, как в бою, так и в простом шествии, и знать все снасти и инструменты, к тому принадлежащие: паруса, веревки, а на каторгах и на иных судах весла и пр. 3) Сколь возможно искать того, чтобы быть на море во время боя, а кому и не случится, и то с прилежанием того искать, как в то время поступать; однакож видевшим и не видевшим бои от начальников морских взять на то свидетельствованные листы за руками их и за печатями, что они в том деле достойны службы своея. 4) Ежели кто похочет впредь получить милость большую, по возвращении своем, то к сим вышеписанным повелениям и учению научился бы знать, как делать те суды, на которых они искушение свое примут». Текст этой инструкции показывает нам ясно, что специально техническая сторона европейского образования всего сильнее привлекала Петра; ему хотелось иметь у себя дома хороших кораблестроителей, хороших моряков, солдат, землемеров, чертежников и т. п. Умственное развитие человека оставалось на самом заднем плане. Петр инстинктивно понимал, что развитые люди редко бывают хорошими исполнителями чужой воли, и потому его административные соображения вовсе не требовали того, чтобы молодые русские путешественники вглядывались в житье-бытье европейских народов и выносили из своих наблюдений материалы для критики своего домашнего порядка вещей. А между тем нельзя зажимать глаза и уши молодым людям, отправляющимся за границу. Нельзя было требовать, чтобы они видели только чертежи, веревки, компасы, паруса и каторги.

Они видели много такого, что никогда не попало бы им на глаза в России; они видели и рассуждали про себя, хотя многое из виденного проходило перед их неприготовленным пониманием, не оставляя по себе никакого прочного впечатления. Находились такие путешественники, которые на все смотрели с невозмутимым бесстрашием; но зато были и такие, которые выражали даже в полуофициальных своих заметках сочувствие к тем или другим явлениям иноземной жизни. Вот, например, выписка из описания путешествия графа Матвеева: «В том государстве лучше всех

основание есть, что не властвует там зависть; к тому же король сам веселится о том состоянии честных своих подданных, и никто из вельмож ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какова озлобления или нанести обиду. Всякой из вельмож смотреть себя должен и свою отправлять должность, не вступая до того, в чем надлежит державе королевской. Ни король, кроме общих податей, хотя самодержавный государь, никаких насилований не может, особливо же ни с кого взять ничего, разве по самой вине, свидетельствованной против его особы в погрешении смертном, по истине, рассужденной от парламента; тогда уже по праву народному, не указом королевским, конфискации или описи пожитки его подлежат будут. Принцы же и вельможи ни малой причины до народа не имеют и в народные дела не вмешиваются, и от того никакую тесноту собою чинить никому не могут. Смертный закон имеют о взятках народных и о нападках на него».

Это говорится о Франции времен Людовика XIV; если эта страна до такой степени нравилась Матвееву, то можно себе представить, что требования были очень умеренны и что, насмотревшись на петровскую Россию, можно было легко помириться со всяким иным порядком вещей, как бы ни был сам по себе некрасив и неудобен этот иной порядок. Можно также себе представить, что деятельность нашего преобразователя во многих отношениях потеряла бы свой характер размашистой произвольности, если бы симпатии Матвеева нашли себе отголосок в тогдашнем русском обществе. Если бы между молодыми людьми, посылавшимися за границу для изучения разных рукоделий, нашлось много умных голов, способных понимать различие между своим и иноземным, тогда, вероятно, Петру сделалось бы вовсе не так легко помыкать силами, способностями, убеждениями и наклонностями своих подданных. Сомневаюсь, чтобы Петр почувствовал особенную радость, замечая это пробуждение русской мысли. Но бедная русская мысль спала очень крепко, и ее отдельные разрозненные проявления, растрачиваясь в неравной, но не бесплодной борьбе, глохли и замирали, как слабый стон, вырывающийся из наболевшей груди.

